

Запах дождя

РОМАН



Данияр Аклбеков

Запах дождя

«Автор»

2026

Аклбеков Д.

Запах дождя / Д. Аклбеков — «Автор», 2026

Кирилл и Лера встретились в Казани в дождливый день. Ему было двадцать два, у него оставалось двадцать рублей и почти не было планов на будущее. У неё — архитектурные чертежи, чужая толстовка и привычка точно знать, куда идти дальше. Они учились быть вместе: снимали первую квартиру, спорили из-за кружек и сушилки для белья, ездили в Петербург, знакомили друг друга с родителями, защищали дипломы и строили планы, которые казались общими. Потом Лера уехала в Берлин. Расстояние редко разрушает любовь само по себе. Гораздо опаснее момент, когда люди начинают двигаться в разные стороны, продолжая считать себя одной командой. Кирилл верит, что любить — значит не уходить. Лера всё сильнее чувствует, что любовь требует не только оставаться, но и понимать, куда вы идёте дальше. «Запах дождя» — роман о любви, которая заканчивается не потому, что исчезли чувства. О времени, которое нельзя поставить на паузу, и человеке, который слишком долго ждал подходящего момента, чтобы начать жить.

© Аклбеков Д., 2026

© Автор, 2026

Данияр Аклбеков

Запах дождя

ЗАПАХ ДОЖДЯ

Глава 1

— Я не понимаю, почему вы убрали «невыносимо», — сказал автор. — Там же рушится семья. Это должно бить по нервам.

Я вернул слово в текст.

— Потому что ему было тяжело, а не невыносимо. Вы сами пишете, что через неделю они спокойно завтракают вместе.

— Но мне нужно показать, насколько ему плохо.

— Тогда покажите.

— А если я напишу «тяжело», это будет просто констатация.

— Да.

Он помолчал.

— И что в этом плохого?

Я снова выделил слово и заменил его на «тяжело». Сохранил файл.

На часах было 18:04.

— Заканчиваешь? — крикнула Света из соседнего кабинета. — В «Соли» сегодня стаут привезли. Могу подождать пятнадцать минут.

— Нет. Мне ещё водопровод добить надо. Две таблицы осталось.

— Ты когда-нибудь заканчиваешь?

— Иногда.

— Врёшь.

Она забрала сумку и ушла. Я закрыл файл с мемуарами и открыл папку «Энциклопедия. Водоснабжение».

На первой странице были таблицы, даты и ссылки на архивные документы. Я проверил сноски, исправил одну цифру и вернулся к абзацу про городскую систему водоснабжения.

В 1902 году была запущена первая фильтровальная станция.

За окном уже шёл дождь. Крупные капли стекали по стеклу, а дворник пытался согнать воду к решётке ливневки.

В правом нижнем углу экрана всплыло сообщение.

Риелтор: Добрый вечер. Покупатели внесли залог...

Я не открыл его.

Курсор мигал внутри слова «фильтровальная».

Я посидел так ещё минуту. В редакции стало совсем тихо, только гудели старые лампы и где-то в коридоре капала вода. Света иногда так делала — уходила, оставляя меня наедине с таблицами, зная, что я всё равно никуда не пойду. Я закрыл ноутбук, натянул куртку и вышел на улицу.

Дождь усилился. Он перестал быть ровной стеной и превратился в плотную, косую сетку. Фонари на Баумана отражались в мокром асфальте, превращая тротуар в чёрное зеркало. Я поднял воротник и пошёл в сторону дома. Идти было минут двадцать, но под землёй сейчас наверняка было душно, а пересадки съедят столько же времени. Под дождём хотя бы можно было дышать.

Город под ливнем всегда казался мне честнее. Смывались вывески сетевых кофеен, гасла неоновая реклама кальянов, и проступала старая, облупившаяся штукатурка. Мимо пронеслась поливальная машина, хотя смысла в ней не было — воды с неба лилось больше. На углу

Университетской женщина пыталась сложить зонт, который вывернуло ветром. Спицы торчали в разные стороны, как лапы мёртвого паука. Она чертыхнулась, бросила его в урну и побежала к остановке, прикрывая голову пакетом.

Света была права. Я действительно никогда не заканчивал. Дело было не в ответственности перед авторами. Дело было в том, что когда я закрывал рабочий файл, мне нужно было возвращаться в свою квартиру. А там не было ничего, что требовало бы моего немедленного внимания. Ни срочных правок, ни горящих дедлайнов. Только тишина. Работа была способом не оставаться с этой тишиной наедине слишком рано.

Я дошёл до перекрестка у Чёрного озера. Загорелся красный. Я остановился и зачем-то глубоко вдохнул. Пахло мокрым асфальтом, остывающей пылью от бордюров и чем-то сладким, приторным — из дверей парка всё ещё тянуло карамелью и сахарной ватой. Я не был здесь несколько лет.

Запах ударил в голову коротким, физическим флешбэком. Не картинка, а именно ощущение: мокрая ткань, тяжесть. Я вспомнил, как держал над ней свой рюкзак, пока мы стояли под ливнем без зонта. Вода лилась за шиворот, а она смеялась, запрокинув голову, и капли стекали по её лицу. Рюкзак был тяжёлым, рука уже затекла, но я почему-то не мог опустить его. Мне казалось, что если я уберу эту жалкую защиту, дождь её разрушит. Светофор моргнул. Я опустил руку, сделал шаг на зебру и пошёл дальше. Вспышка исчезла так же быстро, как и появилась, оставив после себя только странную тяжесть в груди.

Я свернул во двор. Старый фонд, гулякая арка, вечно перегоревшая лампочка на первом этаже. Лифт, как всегда, стоял с открытыми дверями на третьем — кто-то опять застрял и вылез через крышу кабины. Я пошёл пешком. На площадке пахло жареной рыбой и мокрой обувью. Замок щёлкнул не сразу — нужно было чуть приподнять ручку вверх.

В прихожей пахло домом. То есть пылью, старыми книгами и немного мной. Я бросил ключи в миску, которая стояла здесь с первого дня нашего переезда. Миска была плетёная, из какого-то южного города — она привезла её, потому что ей понравился цвет. Цвет давно выцвел до грязно-бежевого.

Я прошёл на кухню, налил воды. На холодильнике держался магнит из Берлина — кусок серого бетона с надписью Siegestsäule. Она привезла его в первый свой самостоятельный приезд, ещё когда мы пытались делать вид, что у нас просто пауза. Сказала: «Смотри, у них тут тоже есть своя колонна, не только у нас». Я тогда кивнул, хотя понятия не имел, что это за колонна. Магнит немного покрылся белым налётом по краям.

Я сел за стол и открыл чат с риелтором.

«Добрый вечер. Покупатели внесли залог. Ключи нужно отдать до конца недели. Если вам нужно больше времени на съезд, нужно обсуждать неустойку».

Я перечитал сообщение трижды. До конца недели оставалось четыре дня.

Квартира была не моей. Мы снимали её шесть лет назад, когда только съехались. Потом она уехала, а я остался. Хозяин не поднимал цену, я исправно платил, и нам обоим было удобно не замечать, что я плачу за пустые комнаты. А теперь хозяин нашёл людей, которые заплатят за эти стены настоящими деньгами. Логично. Справедливо. Я сам себе так говорил последние два года.

Я встал и пошёл в спальню. Начал с антресолей. Снял пыльный чемодан, который мы когда-то купили в «Икее» для поездки в Грузию, но так и не поехали. Внутри лежали её зимние вещи. Свитера, которые она не стала забирать, потому что в Берлине они не нужны. Я не открывал этот чемодан год. Вещи пахли лавандой — саше, которое она положила туда перед отъездом. Запах был настолько её, что на секунду закружилась голова. Я закрыл крышку. Пусть пока полежит. Собрать начну с того, что на виду.

Я методично выносил книги в коридор. Стейнбек, Довлатов, пара томов энциклопедии Брокгауза. Лера всегда смеялась над ними. «Зачем они тебе? Ты же даже не открываешь».

— «Мне нравится, как они выглядят. Это архитектура». Она тогда фыркнула и сказала, что архитектура — это когда в доме можно жить, а не когда на него можно смотреть.

В нижнем ящике письменного стола, среди старых чеков и неработающих ручек, я наткнулся на пластиковый прямоугольник. Матовый, чёрный, с немного стёртой позолотой на разъёме. Зарядка для старого айфона. Я повертел её в руках. Моя техника давно перешла на Туре-С, эта штука была бесполезна.

Я не помнил, как она здесь оказалась. Лера вечно забывала свои зарядки: то в ванной на полке, то на кухонном столе. Когда она собирала чемодан в Берлин, она металась по квартире, скидывая в рюкзак самое необходимое, и я сам складывал ей косметичку. Наверное, эта зарядка просто завалилась за тумбу, а я потом машинально сунул её в ящик.

Я сжал пластик в ладони. Он был тёплым. И вдруг я вспомнил. Не сам Берлин. Вспомнил утро за три дня до её отъезда. Мы сидели на этом самом полу, вокруг были разбросаны вещи. Она пыталась закрыть чемодан, который не закрывался. — Если ты передумашь, я могу купить тебе билет, — сказал я тогда. — В любой день. Она перестала дёргать молнию и посмотрела на меня снизу вверх. — Я не передумую. — Я просто говорю, что если... — Я поняла. Она снова потянула молнию, но та не поддавалась. — Я просто иду дальше, — сказала она. — Не жду, пока ты решишь, что делать.

Я положил зарядку на стол. Руки немного дрожали. Я открыл следующий ящик. Там лежал её старый блокнот в клетку. На первой странице — разрез фундамента, на второй — чей-то телефон, на третьей — нарисованная в спешке схема нашего дивана, потому что он не влезал в лифт, и мы пытались понять, как его разбирать.

Я закрыл ящик. Пошёл в гостиную. На полке стоял системный блок. Я присел на корточки, воткнул провод, нажал кнопку. Компьютер загудел — старый, пыльный вентилятор разогнался тяжело. Пока система грузилась, я смотрел на пустой экран.

Я открыл новый документ. Курсор мигал в левом верхнем углу. Я написал дату: 14 октября. Подумал и стер. Слишком драматично. Написал снова. Посмотрел на мигающую вертикальную черту.

Сегодня у неё день рождения.

Глава 2

Я сначала хотел написать тебе просто «с днём рождения», но потом понял, что это будет странно. Мы не разговаривали почти три месяца, и я не знаю, что люди пишут друг другу в таких случаях. Ставят стикеры в мессенджере? Пишут «всею самого»? Я работаю со словами уже восемь лет, но сейчас не понимаю, как составить из них простое поздравление для человека, который когда-то знал, какой температуры я люблю чай.

Я сегодня нашёл твою зарядку.

Она лежала в нижнем ящике стола, под старыми чеками. Чёрный матовый прямоугольник со стёртой позолотой. Я не видел её два года. Всё это время она просто лежала там, а я её не замечал. Не потому что ждал тебя. Просто вещи, которые долго лежат на одном месте, становятся частью мебели. Ты их перестаёшь видеть. Я сидел на полу, смотрел на эту зарядку и вдруг понял, что за два года так и не выбросил твои тапочки из-под вешалки. Они просто выросли в линолеум.

Я не знаю, зачем пишу это письмо. Наверное, потому что сегодня я съезжаю. Хозяин продал квартиру, и через три дня меня здесь не будет. Я прожил в этих стенах один два года, но это всё ещё была наша квартира. Я просто спал в ней один. Я сидел на том же диване, под которым мы когда-то пытались спрятаться от твоего бывшего, который звонил в дверь в два часа ночи. Я смотрел в то же окно, из которого мы считали красные машины, поспорив на желание. Я платил за эту тишину, потому что она была дешевле, чем признать, что история закончилась.

Я помню, как ты собирала чемодан. Ты всегда собирала вещи в последний момент, хотя архитектор должен уметь планировать пространство. Вещи не влезали. Ты сидела на полу, поджав ноги, и пыталась коленями вдавить крышку. — Если ты передумаешь, я могу купить тебе билет, — сказал я тогда. — В любой день. Ты подняла на меня глаза. У тебя под ними залегли тени, которых не было ещё год назад. — Я не передумаю. — Я просто говорю, что если... — Я поняла. Молния чемодана не поддавалась. Ты дёргала её снова и снова. — Я просто иду дальше, — сказала ты тогда. — Не жду, пока ты решишь, что делать.

Я тогда не понял, что это точка. Решил, что ты просто устала. От сборов, от расстояния, от моего вечного «сейчас не время». Я действительно собирался. По крайней мере, тогда мне так казалось.

Я перечитал написанное. Текст получался слишком гладким, как будто я снова правил чужую рукопись, а не говорил с тобой. Я выделил последний абзац и удалил его.

Сохранённый файл лёг в папку «Черновики». Я встал, прошёл на кухню. На столе стояла кружка, из которой она пила чай. Я так и не смог её вымыть — на внутренней стороне остался тёмный след от заварки, который не брало никакое средство. Я просто ставил туда свои карандаши.

За окном всё ещё шёл дождь. Он барабанил по подоконнику ровно, почти механически. Я вернулся в комнату, сел на пол, прислонившись спиной к дивану, и подтянул к себе коробку с вещами, которые достал из-под кровати. Там лежали старые футболки, какие-то провода и толстый ежедневник в кожаной обложке.

Я открыл его наугад.

«12 мая. Купили стеллаж. Она хотела белый, я уговорил на дуб. Дуб выглядит надёжнее. Собирали до четырёх утра. Она заснула с шуруповёртом в руках. Я не стал будить, просто укрыл пледом и сидел рядом до рассвета, слушая, как за стеной ругаются соседи».

Я перевернул страницу.

«19 августа. Поссорились из-за сушилки для белья. Она хотела ставить её на балкон, я — в ванной. Сказал, что на балконе вещи провиснут от сырости. На самом деле мне просто было лень каждый раз выходить на холод. Она назвала меня домашним. Я обиделся. Помирились ночью под одеялом, потому что оба замёрзли».

Я пролистал дальше. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь.

«Сегодня Лера сказала, что ей прислали оффер. Берлин. Настоящий, с контрактом. Я обрадовался. Честно. Я даже открыл карту, чтобы посмотреть, сколько лететь. Девять часов с пересадкой. Долго. Но она же будет прилетать».

Декабрь.

«Она улетела. Аэропорт. Я ненавижу прощаться у стоек регистрации, поэтому мы попрощались на парковке. Она обещала позвонить, как приземлится. Позвонила из такси. Сказала, что у них тут плюс три и идёт мелкий дождь. Я стоял на парковке в минус пятнадцать, и у меня замёрзли уши».

Я закрыл ежедневник и положил его обратно в коробку.

Я снова сел за компьютер. Открыл документ. Курсор всё ещё мигал.

Я написал ниже:

Я пишу это не для того, чтобы ты вернулась. Я не идиот. Я видел твои фотографии. Ты стояла на фоне какой-то стройки и улыбалась так, как не улыбалась со мной уже очень давно. Не потому что он лучше. А потому что там всё новое. Там нет старых зарядок в ящиках стола. Там не нужно ждать, пока кто-то решит, что пора переезжать.

Я перечитал. Слова про «не идиота» звучали как оправдание. А мне не нужно было оправдываться. Я просто хотел сказать спасибо.

Я стёр про фотографии. Стер про «не идиота».

И написал:

Я пишу это, потому что сегодня у тебя день рождения, а я впервые за два года не отправил тебе стикер с тортом. И потому что я наконец понял, что ты имела в виду. Ты не ждала, пока я решу. Ты ждала, пока я начну двигаться. А я стоял на месте.

Я перечитал. «Стоял на месте» — это было уже ближе к правде. Я сохранил файл и закрыл ноутбук. Встал, прошёл на кухню. Вода в чайнике закипела, я залил пакетик. Запах дешёвого бергамота наполнил кухню. Я сел за стол с кружкой. В кружке была та самая трещина. Она шла от самого края до середины, и чай остывал в этом месте быстрее.

Я допил чай. Встал, сполоснул кружку и поставил её на сушилку — всё той же трещиной вверх.

Когда я вернулся в комнату, на экране ноутбука снова светился открытый документ. Я не помнил, чтобы оставлял его открытым. Наверное, просто захлопнул крышку, не выключив. Курсор продолжал мигать в конце абзаца.

Я сел в кресло. В комнате было совсем темно, только свет от монитора выхватывал из полумрака край стола и рукав моей толстовки. Я протянул руку и включил настольную лампу. Тёплый жёлтый свет упал на клавиатуру.

Я не знал, что писать дальше. Все главные слова казались мне теперь слишком громкими для этого письма. Я не хотел писать историю. Я хотел написать только то, что должен был сказать ещё тогда, в аэропорту, на парковке, когда у неё в рюкзаке лежал билет в один конец.

Я положил руки на стол.

Я скучаю не по тому, как мы гуляли под ливнем, — написал я. — Я скучаю по тому, как ты спала в электричках, приоткрыв рот, и у тебя чуть подрагивало веко. Я скучаю по тому, как ты забирала у меня одеяло ночью, а потом делала вид, что это сделал кот, хотя кота у нас никогда не было. Я скучаю по твоей кружке с трещиной. По тому, как ты морщила нос, когда я пытался петь в душе. По запаху твоего шампуня, который, кажется, до сих пор живёт в сливе ванной, хотя я заливал туда всю химию, которую нашёл в «Леруа».

Я остановился. Получался какой-то список.

Я продолжил писать.

Я не знаю, зачем я тебе это рассказываю. Наверное, потому что сегодня разбираю антресоли и нашёл коробку с твоими зимними вещами. Они до сих пор пахнут лавандой. Я не стал их стирать. Просто убрал обратно. Пусть лежат. Мне кажется, если я их выстираю, запах исчезнет окончательно, и тогда в этой квартире не останется вообще ничего, что имело бы к тебе отношение. А я пока не готов к этому.

Я перечитал абзац и удалил его.

Вместо него написал:

Я не знаю, зачем я тебе это рассказываю. Наверное, просто хотел, чтобы ты знала: я помню. Не даты. А то, как ты морщила нос.

Я сохранил документ. Посмотрел на часы в углу экрана. 21:42.

Я встал, подошёл к окну и закрыл его. Звук дождя стал глуше, как будто его завернули в вату. Я задёрнул штору. Жёлтый свет от лампы больше не спорил с темнотой за окном.

Я снова сел за стол. Курсор мигал. Письмо было почти готово. Осталось только начало и конец.

Я поставил курсор в самый верх, перед фразой про день рождения. И написал:
Здравствуй.

Затем я выделил это слово.

«Здравствуй» звучало как письмо с фронта или из бухгалтерии.

Я стёр его.

Поставил курсор снова.

И написал:

Привет.

Это было ещё хуже. Как сообщение в мессенджере от человека, который хочет занять денег.

Я стёр и это.

Я сидел перед пустой строкой и понимал, что не знаю, как к тебе обращаться. Мы не разговаривали почти три месяца. За это время слово «здравствуй» успело покрыться пылью, а твоё имя — стать чужим.

Я убрал руки с клавиатуры. Закрыв глаза.

В комнате было тихо. Только гудел системный блок и капала вода на кухне — я всё-таки не докрутил кран после того, как ставил чайник.

Я открыл глаза. Посмотрел на экран.

И написал:

Сегодня у тебя день рождения.

Глава 3

Встал, прошёл в прихожую. Достал из шкафа свою старую дорожную сумку. Не ту, с которой она улетела в Берлин, а другую, ещё старше — с потёртой ручкой и сломанной молнией на внутреннем кармане. Расстегнул её. Внутри пахло пылью и поездами.

Я вернулся в комнату. Аккуратно, чтобы не помять, положил конверт во внутренний карман сумки. Закрыв молнию.

Сумка стояла у ножки стола. Письмо было написано. Конверт заклеен. Но легче не стало.

Почта в нашем районе уже закрылась. Можно было дожидаться утра, но тогда письмо пролежало бы ещё одну ночь в ящике стола. Я накинул куртку, перекинул сумку через плечо и вышел из квартиры.

Замок щёлкнул за спиной с глухим, окончательным звуком.

На улице дождь ударил в лицо сразу, без предупреждения. Крупный, осенний. Я поднял воротник и пошёл в сторону Астрономической, где было круглосуточное отделение. Идти было минут двадцать быстрым шагом.

Я шёл под ливнем, и вода стекала за шиворот. В сумке, перекинутой через плечо, лежал конверт. Он не промокнет — сумка старая, но плотная.

Я шёл и думал, что мог просто написать ей в мессенджере. Это бесплатно. Это мгновенно. Но мессенджер не пахнет клеем.

У круглосуточного отделения на Астрономической было пусто. Ни одного человека, только сонный охранник у входа, который даже не посмотрел в мою сторону. Я потянул на себя тяжёлую стеклянную дверь. Внутри пахло сургучом, бумагой и мокрыми плащами.

За стойкой сидела женщина в зелёной форме. Она читала книгу и подняла на меня глаза только тогда, когда звякнул колокольчик над дверью.

— У вас до скольких? — спросил я.

— До нуля часов, — она кивнула на настенные часы. — У вас пятнадцать минут.

— Мне нужно отправить письмо. В Германию.

Она вздохнула, как вздыхают люди, которым очень хочется вернуться к чтению, и протянула мне таможенную декларацию — маленький зелёный бланк. — Заполните. Город, индекс, имя.

Я сел за стол в углу. Руки всё ещё были холодными от дождя. Я достал ручку.

Лера. Берлин. 10115.

Я посмотрел на написанное. Имя выглядело чужим на казённой бумаге. Как будто я заполняю анкету на визу для человека, которого не существует.

Я перевернул бланк. На обратной стороне нужно было указать содержимое.

Я взял ручку в другую руку. Посмотрел на пустую графу.

Что написать? «Письмо»? «Документы»? «Благодарность»?

Я отложил ручку. Посмотрел на сумку. Потом на часы. 23:42.

Женщина за стойкой снова открыла книгу.

Я взял ручку. Выдохнул.

И написал: Личные бумаги.

Глава 4

Я вышел из почты, когда часы на башне пробили полночь. Дождь закончился, оставив после себя тот особый запах, который бывает только в больших городах после ливня: мокрый асфальт, остывающий металл и сладкая гниль листьев в водостоках. Влажный воздух оседал на лице. Сумка на плече стала легче на вес одного конверта, но почему-то казалось, что она тянет к земле сильнее, чем раньше.

Я не стал вызывать такси. Хотелось пройтись. До дома было минут сорок пешком, но спать всё равно не хотелось. В голове было пусто и гулко, как в только что освобожденной комнате. Письмо ушло. Физически. Оно лежало сейчас в большом синем ящике с надписью «Авиа», и завтра утром какой-нибудь хмурый мужчина в форме закинет его в машину.

Я дошел до Баумана. Улица была почти пустой, если не считать парочки под козырьком магазина и одинокого таксиста, который курил, прислонившись к капоту. Витрины кофеен светились теплым, желтым светом. Я прошел мимо нашей старой «Смены», где мы когда-то смотрели кино на языке оригинала с кривыми субтитрами. Она тогда заснула на середине фильма, положив голову мне на плечо, а я боялся пошевелиться, чтобы не разбудить её.

Я свернул во двор. Лампочка в арке всё так же не горела. Лифт на третьем этаже стоял с открытыми дверями. Я пошел пешком, перешагивая через две ступеньки. На площадке пахло жареной картошкой и мокрой резиной.

Я достал ключи. Вставил старый, верхний замок. Замок щёлкнул. Я толкнул дверь и замер на пороге.

Квартира встретила меня темнотой и тишиной. Но это была уже не та тишина, к которой я привык за два года. Та тишина была глухой, она обволакивала, как вата. Эта — звенела. В ней не хватало чего-то.

Я включил свет в прихожей. Щелчок выключателя прозвучал неестественно громко.

На вешалке всё ещё висела её куртка. Тонкая, бежевая, которую она никогда не забирала, потому что весной в Берлине куртки не нужны. Я смотрел на неё, наверное, минуту. Просто стоял и смотрел на пустые рукава.

Я прошел в комнату.

На столе всё ещё стоял ноутбук. Экран погас, но в центре осталась светиться белая точка. Я подошел ближе.

Файл «Лера» был закрыт. Я открыл его. Текст на месте. «Сегодня у тебя день рождения».

Я выделил весь текст. Нажал Delete. Курсор мигал на абсолютно белом листе.

Я закрыл ноутбук.

Повернулся к шкафу. Подошел и дернул на себя дверцу. Зеркало отразило меня: помятую футболку, влажные от дождя волосы, уставшее лицо. За моей спиной, на полке, стояла та самая кружка с трещиной. Я не убрал её в коробку. Забыл.

Я достал дорожную сумку и начал собирать вещи, которые понадобятся на ближайшие дни.

Я не разбираю квартиру целиком. Взял ноутбук, зарядку, несколько вещей и оставил остальное до утра.

В шкафу висели её вещи. Те самые, из коробки. Свитера, которые пахли лавандой. Я не стал их доставать. Просто взял весь тремпель вместе с перекладиной, вынес в коридор и затолкал в тот же черный пакет, где лежали мои носки. Пакет раздулся, стал похож на странное, бесформенное чучело.

Я прошел на кухню.

Я вернулся в комнату.

На полу, у ножки дивана, всё ещё стояла дорожная сумка. Та самая, с запахом поездов. Я расстегнул молнию. Внутри, в боковом кармане, всё ещё лежал конверт. Я не стал его доставать.

Остальное я оставил. Завтра нужно было купить коробки и спокойно разобраться с книгами и мебелью.

Я взял сумку и выключил свет.

Перед выходом я ещё раз посмотрел на кухню и закрыл дверь.

Я накинул сумку на плечо, вышел на площадку и повернул ключ.

Замок щёлкнул. На этот раз — окончательно.

Я спустился пешком. На улице снова начал накрапывать мелкий, морозящий дождь. Я поднял воротник, вышел на Баумана и пошёл в сторону круглосуточного цветочного ларька. Стекло витрины была единственным ярким пятном на этой стороне улицы. Внутри горел тусклый свет, и за прилавком дремала женщина в пуховом платке, навалившись на кассу.

Я не стал её будить. Просто прислонился плечом к холодной стене дома рядом с ларьком. Сумка на плече намокла, ткань куртки начала тяжелеть. Я достал телефон. 00:47. До открытия «Икеи» оставалось почти шесть часов. Можно было пойти в круглосуточную кофейню на Профсоюзной, но там слишком громко и слишком много людей, которые делают вид, что работают по ночам.

Я убрал телефон. Посмотрел на витрину ларька. За стеклом стояли пластиковые ведра с розами, обернутые в шуршащий целлофан. И несколько горшков с какими-то пыльными фикусами.

Я закрыл глаза. Дождь стучал по козырьку ларька монотонно, как старый метроном. В кармане джинсов завибрировал телефон.

Я вздрогнул, хотя ждал этого. Достал аппарат.

Света.

Я посмотрел на экран и не ответил. Телефон завибрировал снова. Я выключил звук.

Женщина в ларьке пошевелилась, что-то пробормотала во сне и снова затихла. Её дыхание было густым, пахнущим чем-то сладким — то ли дешёвой помадой, то ли карамелью.

Я сполз по стене ниже, на корточки. Положил сумку на мокрый асфальт. Достал из неё ежедневник, который забрал из квартиры вместе с остальным хламом. Кожаный переплёт был влажным и холодным.

Я открыл его на чистой странице. Достал из другого кармана ручку.

Посмотрел на пустые строчки.

Раньше я заполнял такие страницы планами на неделю, списками задач, дедлайнами по энциклопедии. Сейчас страница была абсолютно чистой.

Я вывел дату. 15 октября.

Посидел так, глядя на цифры.

Завтра нужно будет найти коробки. Позвонить в транспортную компанию. Отдать ключи.

Я перевернул страницу.

На следующей было пусто.

И на следующей тоже.

Я пролистал ещё несколько страниц. Весь блокнот впереди был белым.

Я закрыл ежедневник и убрал его в сумку.

До утра оставалось ещё почти пять часов.

Глава 5

В университете всегда пахло сыростью. Не той, что бывает после дождя на улице, а старой, книжной, которая годами копится в аудиториях старого корпуса. Запах мокрого драпа, мастики для полов и дешёвого растворимого кофе из автомата на втором этаже. Я знал этот

запах наизусть, потому что провёл здесь четыре года, а потом ещё два — в аспирантуре, которую так и не закончил.

Я сидел на подоконнике в пустом коридоре третьего этажа. Подо мной, на втором, шла лекция по зарубежке. Голос профессора гулко бился о высокие потолки, но слов было не разобрать — только ровный, убаюкивающий гул. Я ждал, когда прозвенит звонок, чтобы спуститься в буфет. У меня в кармане было ровно двадцать рублей, и я пытался решить, что лучше: купить один беляш или два пирожка с картошкой. Есть хотелось одинаково сильно.

— Беляш, — сказал голос прямо у меня над ухом. — Если выбирать между тестом и тестом, всегда бери то, где есть мясо. Оно даёт иллюзию сытости.

Я вздрогнул и чуть не свалился с подоконника. Рядом стояла девушка. Она была в огромной, явно мужской толстовке с капюшоном, накинутом на голову. Из-под капюшона выбивалась прядь тёмных волос. В руках она держала картонный стаканчик с кофе, от которого шёл пар.

— Я не просила выбирать за меня, — сказала она, хотя я даже не открывал рта. — Я просто констатировала факт. Ты сейчас думаешь о еде. Я тоже. Логично, что мы думаем об одном и том же.

Она сделала глоток кофе, не сводя с меня глаз. У неё были очень серьёзные, внимательные глаза. Как у врача или у человека, который привык чертить прямые линии.

— У тебя на рукаве мел, — сказал я, просто чтобы что-то сказать. Указал на её левый рукав толстовки.

Она посмотрела на плечо, стряхнула белый след тыльной стороной ладони. — Это не мел. Это гипс. Я из соседнего корпуса. Архитектура. У нас сегодня была «посадка» — лепили макет из пластилина, потом заливали гипсом, чтобы снять форму. Я просто шла через ваш корпус, потому что на улице ливень, а у меня нет зонта.

Она кивнула на окно. За стеклом действительно стеной стояла вода. Старый тополь во дворе гнуло к земле.

— Беляш — это плохая идея, — продолжила она. — Тесто там жарят на старом масле. К вечеру оно становится горьким. Если хочешь выжить на стипендию, иди в столовую главного корпуса. Там дают нормальную гречку. Без масла, но с котлетой. Котлета, конечно, из воздуха, но гречка настоящая.

Я смотрел на неё и понимал, что совершенно не понимаю, как реагировать. Она говорила так, будто мы знакомы сто лет, и просто продолжаем прерванный разговор.

— Откуда ты знаешь, что у меня нет зонта? — спросил я.

— Потому что ты сидишь на подоконнике в коридоре и смотришь на дождь, а не идёшь под него, — она пожала плечами. — И у тебя в рюкзаке конспекты по истории. Ты гуманитарий. Гуманитарии всегда сидят на подоконниках и делают вид, что ждут чего-то важного. На самом деле они просто не хотят идти на следующую пару.

Я машинально поправил лямку рюкзака. Она была права. Следующая пара была «источниковедение». Скучнее только палеография.

— А ты, значит, архитектор, — сказал я. — Поэтому знаешь про котлеты из воздуха.

— Я знаю про котлеты из воздуха, потому что живу в общежитии, — она усмехнулась. — Архитектура тут ни при чём. Архитектура — это когда ты строишь. А я пока только учусь не ломать. Кстати, меня зовут Лера.

Она протянула мне руку. Рука была холодной, но сухой. На костяшках пальцев виднелись следы гипса.

— Я... — я запнулся. Как-то глупо называть только имя после такой тирады. — Я...

— Ты сидишь на подоконнике, у тебя в кармане двадцать рублей, и ты хочешь есть, — закончила она за меня. — Это я уже поняла. Беляш не бери. Пойдём.

Она не стала ждать ответа. Просто развернулась и пошла в сторону лестницы. Капюшон болтался в такт её шагам.

Я посмотрел на закрытую дверь аудитории. Профессор за стеной всё ещё бубнил что-то про романтизм. До звонка оставалось минут пять.

Я спрыгнул с подоконника.

— Постой, — окликнул я её. — А если я всё-таки хочу беляш?

Она остановилась на верхней ступеньке, обернулась. В полумраке коридора её лицо казалось совсем бледным.

— Тогда ты будешь разочарован, — сказала она. — А в этом университете разочарований и так хватает. Например, когда узнаёшь, что половина вещей, которые ты писал на первом курсе, вообще-то написаны неправильно.

Она подмигнула и начала спускаться.

Я постоял секунду, глядя ей вслед. Потом запах кофе и мокрого драпа показался мне вдруг самым правильным запахом на свете.

Я закинул рюкзак на плечо и пошёл за ней.

Мы начали спускаться. Старая лестница главного корпуса отзывалась на каждый шаг гулким эхом. Здесь не было той гулкой тишины, что наверху, — снизу уже тянуло запахом жареного лука и хлорки из столовой. Лера шла на две ступеньки впереди. Толстовка на ней была такой огромной, что при ходьбе она смешно болталась, скрывая очертания фигуры. Из-под капюшона по-прежнему виднелась только прядь тёмных волос и кончик носа.

— А ты почему не на парах? — спросил я, перепрыгивая через одну скрипучую доску. — Твоя «посадка» закончилась?

— У нас окно, — бросила она через плечо, не оборачиваясь. — Между начерталкой и макетированием. Самое бесполезное время. Полчаса. Ни туда, ни сюда. Как раз хватает, чтобы спуститься с седьмого этажа, купить кофе и понять, что жизнь не имеет смысла.

— На седьмом? — переспросил я. — Вас же вроде в пристройку переселили.

— Нас переселили, — она фыркнула. — Но лифт в пристройке работает только по чётным четвергам, если луна в правильной фазе. А пешком я на седьмой этаж больше не поднимусь. У меня колени не казённые. Я лучше в вашем корпусе посижу. У вас тут лестницы честные. Скрипят, но держат.

Мы вышли в главный холл первого этажа. Пространство здесь было огромным, гулким, с высоченными потолками и облупившейся лепниной по углам. После полумрака лестницы свет резал глаза. Здесь пахло иначе. К запаху столовой примешивался запах мокрой одежды. Коридоры начали заполняться людьми — прозвенел звонок.

Толпа хлынула из аудиторий. Шум стоял такой, что заложило уши: сотни голосов, смех, стук подошв по мраморному полу, звон ключей. Кто-то кого-то окликал через весь холл. Воздух стал густым и тёплым от дыхания.

Только что она шла рядом со мной, а теперь вокруг неё сразу появились люди. Кто-то поздоровался, кто-то задел плечом, кто-то окликнул с другого конца холла. Лера отвечала всем на ходу, не сбавляя шага.

— О, Капюшон! — раздалось справа.

К нам подлетел высокий парень в очках с толстыми линзами. Он хлопнул Леру по плечу так, что она едва не споткнулась.

— Ты опять в моей толстовке? — парень стянул с её головы капюшон. — Я её три дня искал. Думал, комендант спер.

Лера даже не поморщилась. Она перехватила свой картонный стаканчик другой рукой, чтобы не расплескать, и невозмутимо сделала глоток. — Спокойно, Вадик. Я грею её своим теплом. Тебе же приятно, что твоя вещь приносит пользу обществу?

Вадик, кажется, опешил от такой формулировки. Он моргал за толстыми стёклами, переводя взгляд с неё на меня. — А это кто с тобой? — спросил он наконец, кивнув в мою сторону.

— Это... — Лера посмотрела на меня, словно только что вспомнила, что я всё ещё здесь. — Это человек, который знает разницу между «невыносимо» и «не выносимо». Он идёт со мной есть гречку.

— А, — протянул Вадик. — Гуманитарий. Сразу видно. У него лицо человека, которого заставляют читать.

Он развернулся и, не прощаясь, нырнул обратно в толпу, которая тут же поглотила его.

— Твой друг? — спросил я, когда мы снова остались вдвоём в движущемся потоке. Хотя «вдвоём» в этой толпе было понятием относительным. Нас постоянно кто-то задевал плечами.

— Мой одноклассник, — Лера пожала плечами, надевая капюшон обратно. — Считает себя душой компании. На самом деле просто громко топает.

Мы влились в основной поток, текущий в сторону столовой. Коридор сужался, превращаясь в узкое горлышко перед двойными дверями. Запах жареного лука стал невыносимым.

— Держись левее, — скомандовала Лера. — У окна стол. Там всегда свободно, потому что дует.

Она начала активно работать локтями, пробивая нам путь. Я шёл за ней, стараясь не отставать, чтобы нас не разделило толпой. Кто-то наступил мне на пятку. Кто-то пролил на рукав чай из пластикового стаканчика.

— Извини, — буркнул парень с подносом, даже не обернувшись.

Лера толкнула тяжёлую дверь столовой плечом. Та поддавалась с трудом, обдав нас волной горячего, влажного воздуха, пахнущего компотом и подгоревшим маслом.

Гул толпы здесь стал совсем оглушительным. За длинными столами сидели студенты. Звенели вилки, стучали подносы, кто-то смеялся так, что перекрывал общий шум.

Лера остановилась посреди этого хаоса, обернулась ко мне и крикнула, хотя я стоял в метре от неё: — Ну что, гуманитарий? Готов к котлете из воздуха?

Я кивнул, пытаясь перекричать шум: — Только если к ней дадут ту самую гречку!

Она рассмеялась. В этом грохоте её смех прозвучал неожиданно чисто. Она схватила меня за рукав толстовки и потянула к раздаче, прямо в самое сердце этого шумного, пахнущего столовой утра.

Пельмени. Нет. В них один лук. Сосиски. Категорически нет. Они лежат здесь со времён инаугурации прошлого ректора.

Женщина за прилавком вяло шлепнула на чью-то тарелку кусок жареной рыбы. Запах старого масла ударил в нос с новой силой.

— Лера, — позвал я. — Очередь.

— Я не в очереди, я провожу аудит, — бросила она, не оборачиваясь. — А, вот.

Её рука с быстротой змеи метнулась к дальнему лотку, накрытому тусклой лампой. Она выхватила оттуда пластиковую тарелку, на которой лежал одинокий, слегка помятый ком серой массы.

— Гречка, — выдохнула она с облегчением, ставя тарелку на поднос. — Настоящая. Ядрица. Не продел.

Она посмотрела на меня. — Котлету не бери. Она из хлеба. Бери гуляш.

— Там мяса нет, — сказал я.

— Там есть подлива, — парировала она. — А подлива — это жидкий хлеб. Сойдёт.

Она кивнула женщине в колпаке. Та, не меняя выражения лица, механически вычерпнула из бака порцию бурой жижи и плюхнула её рядом с гречкой.

— Теперь напиток, — скомандовала Лера.

Я посмотрел на краны. — Компот?

— Компот — это окрашенная вода с сахаром, — отрезала она. — Он стоит десять рублей. У тебя их нет.

Её пальцы пробежались по ряду гранёных стаканов. — Чай. Дважды.

Она взяла два стакана с мутноватой коричневой жидкостью. От них пахло веником и дешёвым лимоном.

— Лимон не клади, — шепнула она мне, когда я потянулся к тарелочке с заветренными жёлтыми дольками. — Его здесь не моют. Просто перекладывают со стола на стол.

Я отдёргнул руку.

— А хлеб? — спросил я, глядя на плетёную корзину с серыми кирпичами.

— Хлеб — это база, — кивнула Лера. — Но только если он сегодняшний.

Она постучала костяшкой пальца по корке ближайшего кирпичика. Звук был глухим. — Этот вчерашний. Деревяшка.

Она порылась дальше и выудила один, который при постукивании издал лёгкий, почти хрустальный звон. — Вот этот. Полный внутри. Значит, свежий.

Она бросила его на мой поднос. Мой пластиковый поднос к этому моменту выглядел почти так же, как её: гречка, гуляш, два стакана чая и серый хлеб.

Женщина за кассой — та самая, что наливала чай, — нажала на кнопки древнего калькулятора. Кассовый аппарат с громким треском выплюнул чек.

— Двадцать восемь рублей, — прохрипела она.

Лера посмотрела на меня. В её глазах плясали чертики. Она прекрасно знала, что у меня только двадцатка.

— У меня... — начал я, похлопывая по карманам джинсов.

— Я поняла, — она ловко выудила из кармана своих безразмерных штанов смятую десятку и мелочь. — У меня как раз завалилось.

Она кинула деньги в тарелочку для сдачи, даже не пересчитав.

— Держи, — она сунула мне в руки поднос. — Иди занимай стол у окна. Тот, что шатается. Я сейчас приду, у меня ещё макет в аудитории остался, надо забрать.

Она развернулась и, лавируя между студентами с грацией кошки, двинулась в обратную сторону, к выходу из столовой. Капюшон её толстовки снова мелькнул в толпе и исчез.

Я остался один с двумя подносами посреди гудящего зала, чувствуя себя так, будто меня только что провернули через мясорубку и выложили на тарелку.

Я понёс подносы к дальнему столику у окна. Стекло здесь действительно было холодным, а сама столешница из белого пластика чуть заметно качалась, если опереться на правый край. Я поставил свою ношу, сел на жёсткий стул. Металлические ножки противно скрипнули по линолеуму.

Толпа в столовой вдруг показалась мне декорацией. Весь этот шум, звон вилок, гул голосов — всё это осталось где-то за стеклом, а здесь, у окна, было тихо. Я смотрел на свою тарелку. Гречка слиплась в один серый ком. Гуляш растёкся по периметру, оставив в центре сухой остров крупы. Чай в стакане был цвета морилки для дерева.

Двадцать восемь рублей. Она заплатила за меня. И даже не спросила, отдам ли я.

Я посмотрел на дверь, в которую она вышла. Прошло, наверное, минуты две, но мне показалось, что гораздо больше. В голове всё ещё стоял гул от лестничного пролёта и её голоса.

Никто не разговаривает так с незнакомыми людьми.

Я посмотрел на дверь, в которую она вышла. Потом на её поднос.

— Держи.

Я вздрогнул. Она уже стояла рядом. В руках у неё был тубус — длинный пластиковый цилиндр, который архитекторы таскают вместо портфелей. Она перехватила его под мышку, села напротив и придвинула к себе второй поднос.

— Я же сказала, у окна, — сказала она с набитым ртом, уже жуя гречку. — Здесь хоть видно, как нормальные люди живут. А там, в центре, только пар и чужие спины.

Я смотрел на неё и всё ещё пытался сложить пазл.

Толстовка Вадика. Тубус. Гипс. Уверенность, с которой она швырнула деньги на кассу.

— Почему ты подошла? — спросил я. Вопрос вырвался сам. Слишком прямо.

Она перестала жевать. Посмотрела на меня поверх стакана.

— Потому что ты сидел на подоконнике и выглядел так, будто тебе очень не хочется никуда идти, — сказала она просто.

Она снова принялась за еду. Набила полный рот гречки, запила чаем.

— А оказалось, ты просто голодный.

Я почувствовал, как краснею. Уши загорелись.

— Вообще-то я не настолько голодный.

— Врёшь, — сказала она и ткнула вилкой в мою тарелку. — Ты уже третий раз смотришь на мой гуляш.

Она подцепила вилкой кусок гуляша. На вилке повисла капля бурой подливы.

— Кстати, — она ткнула вилкой в мою сторону. — Ты так и не сказал, как тебя зовут. «Человек, который знает разницу» — это слишком длинно для подписи в открытке.

Я моргнул. Она всё это время знала, что я не представился. И ждала.

— Я, — голос сел. Я прочистил горло. — Я... Кирилл.

— Кирилл, — повторила она. Попробовала имя. — Похоже на кирпич.

Она откусила кусок моего хлеба. Того самого, полого внутри.

— Сойдёт, — сказала она с набитым ртом. — Будешь знать, как сидеть на чужих подоконниках с голодным лицом. В следующий раз просто скажи: «Лера, покорми меня». Это экономит время.

Она доела гречку раньше меня. Просто сгребла остатки ложкой и отправила в рот. Запила остатками чая.

— Твоя порция больше, — заметил я, кивая на её пустую тарелку.

— У меня метаболизм, — она пожала плечами, вытирая рот рукавом толстовки. — И стресс. А у тебя только конспекты.

Она достала из кармана телефон. Старый, кнопочный, с потёртым экраном. Посмотрела на время. — Всё. — Она встала, сгребая тубус. — У меня макетирование. Если не принесу разрез перекрытия, меня повесят на ватмане.

Она развернулась, чтобы уйти.

— Постой, — сказал я. Слова опять давались с трудом. — А... мы увидимся?

Она обернулась. Капюшон упал на спину. В столовой было шумно, но мне показалось, что стало тише.

— Ты сидишь на моём подоконнике, ешь мой гуляш и ещё спрашиваешь? — она усмехнулась. — Конечно, увидимся. Ты теперь мой должник. С тебя беляш. Настоящий.

Она подмигнула, развернулась и пошла к выходу.

Я сидел один за столиком у окна. На подносе осталась недоеденная гречка и остывший чай. В кармане джинсов всё ещё лежали мои двадцать рублей.

Я посмотрел на стол. На пластиковую поверхность была приклеена старая жвачка.

Я улыбнулся. Впервые за очень долгое время улыбка получилась сама, без усилия. Лицевые мышцы не болели.

Я доел её гуляш. Подлива действительно оказалась просто жидким хлебом.

Глава 6

Лера не появилась ни на следующий день, ни через день. Три дня я сидел на том же подоконнике в пустом коридоре, пытаюсь повторить обстоятельства. Я приходил к третьей паре, покупал кофе в том же автомате, смотрел в то же окно на тот же мокрый тополь. Коридор

оставался пустым. Лекции по зарубежке всё так же гудели внизу, но голоса из них больше не рождали никаких мыслей о еде.

На четвертый день я спустился в столовую главного корпуса один. Взял гречку и гуляш. Подлива действительно оказалась жидким хлебом, но без неё было совсем тоскливо. Я сел за тот же столик у окна. Стул всё так же качался. За окном шёл дождь, но теперь он просто заливал стекло, не вызывая никаких флешбэков.

Я доел, выкинул поднос и пошел на пару. По дороге, на лестничном пролете между вторым и третьим этажом, я врезался в кого-то, едва не уронив сумку. — Смотри, куда прешь, — буркнул парень, даже не обернувшись. Это был Вадик. Я не стал извиняться. Просто пошел дальше.

В пятницу утром, когда я в очередной раз тащился на «источниковедение», на лестнице снова пахло кофе. Я поднял голову. Она стояла двумя ступеньками выше, прислонившись плечом к стене. Та же огромная толстовка, тот же капюшон. Только гипс на руках исчез, зато на щеке красовалась свежая царапина.

Она не сказала «беляш». Она просто смотрела на меня сверху вниз, медленно помешивая кофе картонной палочкой. — Ну привет, кирпич, — сказала она наконец. — Я уж думала, ты пророс в тот подоконник. Или тебя съел «источниковед». Я почувствовал, как рот сам растягивается в улыбку. Глупую, до ушей. — У меня был зачет, — соврал я. — И я ждал, что ты спустишься с седьмого этажа на парашюте. Раз лифт не работает. Она фыркнула, втянула носом воздух. — Лифт починили во вторник. Но мне больше нравится лестница. На ней думать проще.

Она оттолкнулась от стены и начала спускаться. На этот раз она не пошла вперед. Она встала на мою ступеньку, оказавшись почти вплотную. От неё пахло тем же дешевым кофе, но теперь к нему примешивался запах мокрой шерсти — она только что пришла с улицы. — Ты всё ещё голодный? — спросила она, не глядя на меня. — Нет. Я обедал. В час. — Врёшь. Ты обедал в двенадцать тридцать, потому что у тебя окно. Я видела тебя в окно столовой. Ты сидел один и гонял по тарелке одну и ту же горошину. Я моргнул. Она действительно видела. Значит, она смотрела не только с лестницы. — Ладно, — она кивнула сама себе. — Раз ты не голодный, будем работать. У меня к тебе дело. — Какое? — спросил я, хотя понимал, что сейчас соглашусь на что угодно. — Мне нужно написать курсовую по истории архитектуры. Про конструктивизм. Точнее, про здание Наркомфина. Но я не могу читать эти ваши архивные занудства. У меня от них сохнут глаза и хочется строить гаражи.

Мы вышли в холл. Толпа снова подхватила нас, но Лера не растворилась в ней. Она просто шла рядом, и шум вокруг как будто отступил на шаг. — А я тут при чём? — спросил я, когда мы выбрались из потока к дверям. — Ты при истории, — она пожала плечами. — А я при архитектуре. Мы будем делать проект-симбиоз. Ты мне — контекст эпохи, сухие факты, кто там кого репрессировал в тридцать четвертом. Я тебе — чертежи, разрезы, почему эти идиоты сделали окна в коридоре. Разделим работу. Половина оценки твоя. — Ты даже не знаешь, как меня зовут, — сказал я. — Кирилл-кирич, — она усмехнулась. — Я помню. У меня хорошая память на бесполезные вещи. Она остановилась у расписания, прибитого к стене. Пробежала пальцем по строчкам. — Так. У тебя сейчас «источниковедение». Которое ты ненавидишь. Пропускай. — Меня отчислят. — За один пропуск? — она посмотрела на меня как на слабоумного. — Ты же на бюджете. Тебя отчисляют только за то, что ты существуешь. Пошли. Она схватила меня за рукав и потянула к выходу. На этот раз я не сопротивлялся.

На улице дождь прекратился, но асфальт всё ещё был мокрым и чёрным. Мы прошли мимо главного входа, мимо памятника, мимо остановки. — Куда мы? — спросил я. — В библиотеку, — бросила она. — В главную. Ту, где пахнет пылью и смертью. У меня там абонемент. И ключ от «тихого зала». — У тебя есть ключ от «тихого зала»? — я остановился. — Это же миф. Его не существует. — Для архитекторов существует всё, — она дернула меня за рукав,

заставляя идти дальше. — Особенно если твой отец когда-то чинил там проводку. Мы свернули за угол старого корпуса, прошли через служебный двор, где пахло сырой штукатуркой и кошками. Лера достала из кармана толстовки связку ключей на огромном ржавом кольце. Подошла к неприметной железной двери в цоколе. — Подержи, — она сунула мне в руки свой картонный стаканчик. Кофе уже остыл и стал совсем мерзким. Лера повозилась с замком. Старый механизм поддался с громким лязгом. Дверь открылась, пахло холодом, книжной пылью и старым деревом. Это была не та парадная, мраморная библиотека с колоннами, куда водят экскурсии. Это был подвал. Длинный коридор с низкими сводчатыми потолками, освещенный тусклыми лампами в клетках. — Добро пожаловать в преисподнюю, — сказала Лера, забирая у меня стаканчик. — Здесь живут книги, которые никто не открывал со времен Брежнева. Она уверенно пошла вперед по коридору. Её шаги гулко отдавались от каменного пола. Я шёл за ней, чувствуя, как привычная тоска по Лере — та, что грызла меня последние три дня — наконец-то отпускает горло. На её месте появлялось что-то другое. Что-то похожее на азарт. Она остановилась перед одной из дверей. Снова зазвенела ключами. — Заходи, — сказала она, толкая тяжелую створку. — И постарайся ничего не сжечь. Если спалишь Наркомфин, нам обоим хана. Я шагнул внутрь.

«Тихий зал» оказался длинной узкой комнатой с одним-единственным окном под самым потолком. Света было мало, но зато здесь было сухо и пахло старой кожей и пылью, а не сыростью из коридора. Посреди комнаты стоял один огромный дубовый стол, рассчитанный человек на десять. Лера бросила на него свою сумку, которая гулко стукнула металлом, и скинула капюшон. Волосы у неё оказались короче, чем я думал, и торчали в разные стороны, как солома. — Садись, — она кивнула на стул напротив. — И доставай свои бумажки. Будем делать из тебя архитектора. Я сел. Достал из рюкзака тетрадь и ручку. Ощущение было странным: я не был здесь со времен первого курса. Обычно я занимался в читалке гуманитарного корпуса. Лера плюхнулась на стул, вытянув длинные ноги в грязных кедах. Она открыла тубус, который оказался не просто тубусом, а складным тубусом-чемоданом. Внутри лежали рейсшина, карандаши в кожаном пенале и логарифмическая линейка — вещь, которую я видел только в музее. — Так, — она выудила из сумки рулон пожелтевшей кальки и расстелила его прямо поверх моих конспектов. — Показывай, что нарыл. Я пододвинул к ней тетрадь. — Ну, тут в основном про контекст. Тридцатые годы. Жилищный кризис. Идея дома-коммуны. Обобществление быта. Столовая на первом этаже, чтобы не тратить время на готовку. Детские сады-ясли, чтобы женщины сразу шли на заводы. Лера слушала, водя карандашом по кальке. Она не смотрела на меня, только на бумагу. Линия, которую она вела, была идеально прямой, хотя рука опиралась на самый край стола. — Идея хорошая, — буркнула она, не отрываясь от работы. — Только идиотская. — Почему? — спросил я. — Потому что они хотели отменить семью, — она нажала на карандаш чуть сильнее, и грифель скрипнул. — А семья — это единственное, что выдерживает любую архитектуру. Если убрать семью, дом рухнет. Даже если он из бетона. Она остановилась. Посмотрела на меня. В полумраке её глаза казались совсем тёмными. — Дальше. Что там с окнами? — Окна ленточные, — я перелистнул страницу. — Горизонтальная полоса стекла по всему фасаду. Чтобы стереть границу между улицей и домом. И чтобы в коридорах было светло. Коридоры у них были тёмные, как трубы. Лера фыркнула. — Тёмные коридоры в доме света. Гениально. Дай линейку. Я протянул ей свою обычную пластиковую линейку. Она посмотрела на неё как на дохлую мышь. — Этим ты кирпичи на стройке отмеряешь? — она порылась в пенале и достала металлическую линейку с гравировкой. — Держи. И не дыши на кальку. Она от этого идёт волнами.

Следующие два часа прошли в странном ритме. Я говорил — она чертила. Я рассказывал про свободную планировку и отсутствие кухонь в квартирах. Она рисовала прямоугольники, яростно стирала их клячкой, бормоча себе под нос ругательства, и рисовала снова. — Не так, — сказала она в какой-то момент, вырывая у меня из рук тетрадь. — Смотри. Ты говоришь

«обобществление быта». Для тебя это текст. Буквы. А для них это была геометрия. Она развернула тетрадь ко мне и быстро, почти не отрывая карандаша, набросала на полях план квартиры. — Вот жилая ячейка типа «F». Спальная кабина. Шесть квадратных метров. Только кровать и проход. Всё остальное — общее. Кухня — общая. Столовая — общая. Душ — общий. Даже коридор — это не коридор, а улица внутри дома. Понимаешь? — Понимаю, — сказал я. — Я же про это и пишу. — Ты не пишешь, — она ткнула тупым концом карандаша мне в грудь. — Ты перечисляешь. «Было сделано то-то, с целью того-то». Как эпитафия. А ты почувствуй. Представь, что ты живешь в этой кабине. Шесть метров. Окно в потолке. Ты слышишь, как сосед сверху чихает. Как ты будешь отсюда выходить? — В коридор, — сказал я. — А в коридоре кто? — она прищурилась. — Ещё двести таких же. Все в одинаковых робах. Все идут в общую столовую есть одинаковую кашу. Это не свобода, Кирилл. Это идеальный концлагерь с хорошим освещением. Она откинулась на спинку стула и закинула руки за голову. — Они хотели построить машину для жизни. А машина не умеет любить. Она умеет только функционировать. Я смотрел на неё. На её растрепанные волосы, на карандаш, заткнутый за ухо, на царапину на щеке. Впервые за всё это время она не шутила. Она была злой. И эта злость ей шла гораздо больше, чем сарказм. — Поэтому у тебя в курсовой, — она ткнула в меня карандашом снова, — не будет слова «обобществление». Там будет слово «изоляция». И «контроль». И «отсутствие воздуха». — Но преподаватель сказал хвалить конструктивизм, — возразил я. — Сказал, что это авангард. — Авангард — это когда ты первый бежишь с шашкой на пулемёт, — она хмыкнула. — Обычно это заканчивается плохо. Дodelывай текст. Мне нужно знать точные размеры ленточного окна на торце, чтобы я могла нарисовать разрез. И не вздумай округлять. Архитектура не любит округлений. Она любит миллиметры. Она снова склонилась над калькой. Её профиль в тусклом свете лампочки казался выточенным из камня.

Я взял ручку. Посмотрел на свои записи. «Обобществление быта». Я зачеркнул это жирной линией.

Посмотрел на Леру. Она высунула кончик языка от усердия, вычерчивая какой-то сложный узел примыкания кровли. Я написал сверху: «Попытка отменить частную жизнь».

Лера не заметила. Она была слишком занята тем, чтобы миллиметр за миллиметром отвоёвывать пространство у пожелтевшей бумаги. Я продолжил писать. Слова ложились на бумагу совсем иначе. Не как отчёт. Как протокол вскрытия.

Через час она выдохнула и разогнула спину. Послышался громкий хруст позвонков. — Всё, — сказала она. — Каркас готов. Остальное дорисую в общаге. У меня спина от этого стола отваливается. Она начала собирать инструменты. Карандаши, линейки, кальку — всё это заняло ровно тридцать секунд. У неё всё имело своё место. — А курсовая? — спросил я. — Текст. — Текст дodelывай сам, — она закинула сумку на плечо. — Я тебе задала вектор. Теперь это твоя история. Только убери оттуда слово «функционал». Оно звучит как название геморроя. Она уже шла к двери. — Лера, — окликнул я. Она обернулась. В полумраке она выглядела уставшей. Царапина на щеке стала тёмной. — Что? — Спасибо. Она на секунду замерла. Потом усмехнулась. Но на этот раз без привычной колкости. Почти мягко. — Сочтемся, кирпич. Завтра в то же время. Принеси мне данные по толщине перекрытий. И булочку. Я не успела позавтракать. Она толкнула тяжелую дверь и вышла в коридор.

Я остался один. В «тихом зале» пахло пылью, озоном от её куртки и графитом. На столе остался её чертеж — сложная, агрессивная паутина линий на жёлтом фоне. Я посмотрел на зачеркнутое слово «обобществление». Язык, которым я писал до неё, вдруг показался мне картонным.

Я достал чистый лист и начал писать заново.

Я посмотрел на свою старую тетрадь. На свои записи. «В 1928 году Моисей Гинзбург выдвинул концепцию "дома как машины для жилья"...» «Обобществление быта должно было

освободить женщину от кухонного рабства...» «Ленточные окна обеспечивали максимальную инсоляцию...»

Я перечитал несколько строк и закрыл тетрадь. Раньше я бы написал: «Дом Наркомфина является одним из ярчайших памятников советского конструктивизма...» Я взял чистый лист. Написал: «Они хотели построить город-сад, а построили идеальную тюрьму с ленточными окнами. Идея была простой и пугающей: если убрать из квартиры всё лишнее — кухню, кладовку, гостиную, даже лишнюю пару метров коридора — останется только функция. Сон. Шесть квадратных метров. Кабина. По задумке Моисея Гинзбурга, это должно было освободить человека. Освободить от быта, от мещанства, от "мелкобуржуазной" привязанности к своим вещам. Но человек — не функция. Когда у тебя отбирают кухню, ты не становишься свободным. Ты просто начинаешь ненавидеть запах общей столовой».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.